

Габриэль Гарсия Маркес

«Палая листва»

Что до трупа Полиника, умершего жалкой смертью, то, говорят, Креонт вынес указ, чтобы никто из жителей города не хоронил его и не оплакивал, а оставили бы его без погребения, не почтив плачем, на лакомство хищным птицам, что кинутся его пожирать. Говорят, добрый Креонт велел огласить этот указ ради тебя и меня, то есть ради меня; и что он явится сюда объявить распоряжение тем, кто о нем не знает; и что похоронам не бывать, ибо всякого, кто посмеет нарушить запрет, народ побьет камнями.

(Из «Антигоны»)

Вдруг точно вихрь взвился посреди селения – налетела банановая компания, неся палую листву. Листва была взбаламученная, буйная – человеческий и вещественный сор чужих мест, опаль гражданской войны, которая, отдаляясь, казалась все более неправдоподобной. Листва сыпалась неумолимо. Она все заражала буйным смрадом толпы, смрадом кожных выделений и потаенной смерти. Менее чем за год она завалила селение мусором бесчисленных бедствий, усеяла улицы своим смешанным хламом. И этот хлам под ударами шального порывистого ветра стремительно сметался в кучи, обособлялся и наконец превратился в улочку с рекой на одном конце и огороженным кладбищем на другом, в особый, сборный поселок, состоявший из отбросов других селений.

Вперемешку с человеческим сором, вовлеченные в его мощную заверть, там осели остатки бакалейных лавок, больниц, злочных мест, электростанций; отрепья одиноких женщин и мужчин, что наматывали уздечку мула на коновязь гостиницы, привозя с собой из поклажи один только деревянный чемодан или узелок с бельем, а через несколько месяцев имели собственный дом, двух наложниц и воинское звание, которое им задолжали, ибо они поздно вступили в войну.

Даже отребье унылой любви больших городов попало к нам в заверти листьев и настроило деревянных лачуг; сперва это был закоулок, где полкровати служило мрачным приютом на ночь, потом шумная улица тайных притонов, потом целая деревня терпимости внутри самого селения.

Среди этой кутерьмы, этой бури незнакомых лиц, палаток на проезжей дороге, мужчин, переодевавшихся на улице, женщин, сидевших с раскрытыми зонтиками на чемоданах, и мулов – мулов, брошенных в конюшне гостиницы и подыхавших с голоду, мы, первые поселенцы, были последними, мы были чужеземцами, выскочками.

Приехав после войны в Макондо и оценив тучность его земли, мы не сомневались, что когда-нибудь сюда хлынет опаль, но не рассчитали ее силы. И потому, когда мы почувствовали надвижение лавины, нам оставалось лишь выставить тарелку с вилок и ножом за порог и терпеливо ждать, чтобы новоприбывшие нас признали. Но вот раздался первый сигнал поезда. Опаль взметнулась ему навстречу, но утратила в полете натиск, слиплась и отяжелела; и тогда она потерпела естественный процесс гниения и соединилась с частицами земли.

(Макондо, 1909 год)

1

Первый раз в жизни я увидел мертвеца. Сегодня среда, но я чувствую себя как в воскресенье, потому что меня не пустили в школу и одели в зеленый вельветовый костюм, который мне кое-где режет. За руку с мамой, позади дедушки, который шарит перед собой тростью, чтобы не наткнуться на мебель (он плохо видит в полумраке и хромает), я прошел мимо зеркала в гостиной и увидел себя с головы до ног – в зеленом, с белым крахмальным бантом, который сбоку трет мне шею. Я увидел себя в закругленном мутном стекле и подумал: «Это я, как будто сегодня воскресенье».

Мы пришли в дом, где лежит покойник.

В закупоренной комнате не продохнуть. Слышно, как на улице гудит солнце, но больше ни звука. Воздух спертый, тугой – такое впечатление, будто его можно согнуть, как стальную пластину. В спальне, куда положили мертвеца, пахнет чемоданами, но я их нигде не вижу. В углу на одном кольце висит гамак. Такой запах бывает на свалке. И мне приходит в голову, что ветхие полуистлевшие вещи вокруг нас имеют такой вид, что они и должны пахнуть свалкой, хотя на самом деле у них совсем другой запах.

Я раньше думал, что все покойники непременно в шляпах. Теперь вижу, что нет. Вижу, что у них седая голова и челюсть подвязана платком. Что рот приоткрыт и из-под синих губ выглядывают неровные грязные зубы. Что язык прикушен сбоку, толстый, распухший, цветом потемнее лица – как пальцы, перетянутые веревкой. Что глаза широко открыты, куда шире, чем у людей, вытаращенные, тусклые, а кожа напоминает утопанную влажную землю. Я думал, что покойник похож на тихо спящего человека, но теперь вижу, что как раз наоборот: он вроде бодрствует и еще не остыл после драки.

Мама тоже нарядилась, как в воскресенье. Она надела старомодную соломенную шляпу, покрывающую уши, и черное платье с высоким глухим воротом и рукавами до самых запястий. Оттого что сегодня среда, она кажется мне чужой, незнакомой, и, когда дедушка встает навстречу людям, вносящим гроб, у меня создается впечатление, что она хочет мне что-то

сказать. Мама сидит со мной рядом, спиной к закрытому окну. Она тяжело дышит и то и дело поправляет пряди волос, которые выбиваются у нее из-под шляпы, надетой второпях. Дедушка приказал людям поставить гроб у кровати. Только после этого я убедился, что мертвец в нем поместится. Когда гроб внесли, мне показалось, что он слишком короток для тела, вытянувшегося во всю длину кровати.

Не знаю, зачем меня привели. Я ни разу не бывал в этом доме и даже считал, что он пустует. Это большой угловой дом, двери которого, сколько я помню, никогда не отворялись. Я был уверен, что здесь никто не живет. Только сегодня, когда мама сказала мне: «После полудня ты не пойдешь в школу», но я не обрадовался, потому что она сказала это строгим и сдержанным голосом, а затем принесла мой вельветовый костюм и, ни слова не говоря, одела меня, и мы вышли вслед за дедушкой на улицу и миновали три дома, что отделяют наш дом от этого, — только сегодня я понял, что на углу кто-то жил. Кто-то, кто умер; значит, тот самый человек, которого имела в виду мама, сказав мне: «На похоронах доктора ты должен вести себя прилично».

Войдя, я не увидел никакого покойника. Я увидел дедушку, который стоял у дверей и разговаривал с людьми. Он знаком велел нам проходить дальше. Я подумал тогда, что в комнате кто-то есть, но с порога она казалась темной и пустой. Жаркий воздух ударил мне в лицо, и я почувствовал запах свалки, который сперва был крепким и неотступным, а теперь, как и жара, наплывает широкой волной и отступает. Мама провела меня за руку по темной комнате и усадила рядом с собой в углу. Только немного спустя я начал различать предметы. Я увидел, что дедушка пытается открыть окно, которое точно приклеилось к проему и вросло в него деревянной рамой, и колотит по задвижкам тростью. Его пиджак был в пыли, взлетающей от каждого толчка. Когда он объявил, что бессилен, я повернул голову к окну и только тут заметил, что на кровати кто-то лежит. Это был мужчина, весь темный, вытянувшийся, неподвижный. Я обернулся к маме, но она сидела чужая и серьезная и глядела в другую сторону. Из-за того, что мои ноги на пядь не достают пола и висят в воздухе, я подложил руки под ляжки, и, опершись ладонями на сиденье, принялся болтать ногами, ни о чем не думая. И вдруг я вспомнил, что мама сказала мне: «На похоронах доктора ты должен вести себя прилично». По спине у меня скользнуло что-то холодное. Я глянул назад, но не увидел ничего, кроме деревянной стены, сухой и потрескавшейся, и из стены мне точно сказал кто-то: «Не болтай

ногами. Человек, который лежит на кровати, и есть доктор, он умер». И когда я посмотрел на кровать, я разглядел его. Я увидел, что это не отдыхающий человек, а мертвец.

С той минуты, как я ни силюсь туда не глядеть, меня будто держит кто-то за голову и не дает отвернуться, и, хотя я отвожу глаза, мне все равно везде мерещатся в темноте его вытаращенные белки и зеленое мертвое лицо.

Не знаю, почему никто не пришел на похороны. Пришли дедушка и четверо индейцев-гуахино, которые у дедушки работают. Они принесли сумку с известью и высыпали ее в гроб. Если бы мама не была такой странной и рассеянной, я спросил бы у нее, зачем они это делают. Не понимаю, для чего сыпать в гроб известь. Когда сумка опорожнилась, один из мужиков встряхнул ее над гробом, из нее выпали последние крошки, больше похожие на опилки, чем на известь. Индейцы взяли мертвеца за плечи и за ноги. На нем простые брюки, стянутые широким черным ремнем, и серая рубашка. Ботинок только на левой ноге. Одна нога – царь, а другая – раб, как говорит Ада. Правый ботинок валяется на краю постели. На кровати мертвецу вроде что-то мешало, а в гробу ему удобнее, спокойнее. Его лицо, лицо живого человека, возбужденного дракой, приобрело безмятежность и уверенность, профиль смягчился, словно мертвец почувствовал себя наконец на своем месте.

Дедушка ходил по комнате. Он собрал какие-то предметы и положил их в гроб. Я снова взглянул на маму в надежде, что она объяснит мне, почему дедушка складывает в гроб вещи. Но мама в черном остается невозмутимой и, кажется, старается не смотреть туда, где лежит покойник. Я тоже хочу не смотреть, но не могу. Я неотрывно гляжу на него, я его изучаю. Дедушка кладет в гроб книгу, делает знак людям, и трое из них закрывают гроб крышкой. Только тогда я чувствую, что руки, державшие мою голову повернутой в ту сторону, меня отпустили, и начинаю рассматривать комнату.

Оборачиваюсь к маме. Она в первый раз с тех пор, как мы пришли сюда, глядит на меня и улыбается натянутой, ничего не выражающей улыбкой. Я слышу вдалеке свисток поезда, уходящего за поворот. В углу, где лежит мертвец, происходит движение. Один из индейцев приподнимает крышку, и дедушка всовывает в гроб ботинок покойника, забытый на кровати. Снова свистит поезд, на этот раз дальше, и меня осеняет: «Половина третьего». Я

вспоминаю, что в это самое время (когда поезд свистит, обогнув Макондо) ребята в школе строятся в пары и идут на первый послеобеденный урок.

«Абраам», – думаю я.

Я не должна брать с собой ребенка. Это зрелище не для него. Даже я, а мне исполнится тридцать лет, и то с трудом выношу разреженную атмосферу, окружающую труп. Мы еще можем встать и уйти. Мы можем сказать папе, что нам дурно в комнате, за семнадцать лет насквозь пропитавшейся человеком, который ни с кем не был связан чем-либо похожим на сердечность или благодарность. Наверное, один только мой отец испытывал к нему симпатию. Необъяснимую симпатию, благодаря которой он не сгниет теперь в своих четырех стенах.

Меня беспокоит, что во всем этом есть что-то смешное. Меня тревожит, что через минуту мы выйдем на улицу, провожая гроб, при виде которого всякий почувствует только удовлетворение. Воображаю, с каким выражением женщины будут глядеть из окон, как идет отец, как иду я с ребенком за гробом, где гниет человек, которому никто в Макондо не желал ничего иного, неумолимо отвергнутый, провожаемый на кладбище тремя людьми, решившими сотворить милосердие, которое станет началом их собственного позора. Возможно, из-за папиной непреклонности завтра не найдется ни души, чтобы проводить на кладбище нас самих.

Не потому ли я взяла с собой ребенка? Когда папа сказал мне: «Ты пойдешь со мной», моей первой мыслью было взять ребенка, чтобы не чувствовать себя беззащитной. И вот мы сидим здесь, в духоте сентябрьского дня, ощущая, что вещи, нас окружающие, – беспощадные соглядатаи наших врагов. Папе волноваться не из-за чего. В сущности, всю свою жизнь он только так и поступал – пренебрегал общественным мнением и щепетильно выполнял свои даже самые незначительные обязательства, без оглядки на приличия. Должно быть, еще двадцать пять лет назад, когда этот человек явился к нам в дом, папа предположил, наблюдая нелепое поведение гостя, что придет день и никто в селении не озаботится хотя бы кинуть его труп стервятникам. Наверное, папа уже тогда предвидел все трудности, измерил и рассчитал возможные неудобства. И теперь, двадцать пять лет спустя, он, несомненно, лишь выполняет давно обдуманную задачу и доведет ее до конца во что бы то ни стало, хотя бы ему пришлось собственноручно тащить труп по улицам Макондо.

И все же, когда настало время, у него не хватило духа сделать это самому, и он принудил меня вместе с ним выполнять этот нестерпимый долг, который, без сомнения, он взял на себя задолго до того, как я начала что-либо понимать. Когда он сказал мне: «Ты пойдешь со мной», я не успела осознать все значение его слов, не сразу сообразила, насколько это смешно и постыдно – хоронить человека, который, как все надеялись, должен был обратиться в прах в собственном логове.

К тому же люди не просто надеялись, они приготовились к этому исходу, надеялись с чистым сердцем, без угрызений совести и даже предвкушали, как в один прекрасный день по селению поползет благоухание его тупа и никто не взволнуется, не потревожится и не возмутится – все обрадуются, что пришел вождьденный час, и будут желать, чтобы тошнотворный смрад мертвечины продержался как можно дольше, пока не насытятся даже сокровенные тайники озлобления.

И вот мы лишили Макондо долгожданного удовольствия. У меня такое чувство, будто в известной мере сама наша решимость породит в сердцах людей вместо уныния и разочарования уверенность, что это не поражение, а всего лишь отсрочка.

Еще и потому мне следовало оставить ребенка дома, не навлекать на него вражду, которая десять лет свирепствовала против доктора, а теперь ополчится на нас. Ребенка не надо было вмешивать в это дело. Он не понимает, зачем он здесь, зачем привели его в эту захлавленную комнату. Сидит примолкший, озадаченный, болтает ногами, опершись ладонями на стул, и словно ждет, чтобы ему объяснили, что все это значит, разрешили непосильную загадку. Я хочу быть уверенной, что никто этого не сделает, никто не отворит невидимую дверь, мешающую ему проникнуть дальше ощущений.

Несколько раз он взглядывал на меня, и я знаю, что кажусь ему чужой и незнакомой в платье с глухим воротом и старомодной шляпе, которую я надела, чтобы скрыться и от собственных предчувствий.

Если бы Меме была жива, была тут, в этом доме, тогда дело другое. Подумали бы, что я пришла ради нее, пришла разделить горе. Правда, она бы не горевала, но ведь можно притвориться, и Макондо легко бы ей поверило. Меме исчезла чуть ли не одиннадцать лет назад. Со смертью

доктора пропала возможность узнать, где она или по крайней мере где зарыты ее кости. Меме здесь нет, но, будь она здесь – если бы не случилось то, что случилось, и так и осталось невыясненным, – она, вероятно, приняла бы сторону жителей, а не человека, который шесть лет согривал ее постель, выказывая не больше любви и душевности, чем обыкновенный мул.

Я слышу свисток поезда на повороте. «Половина третьего», – думаю я и тщетно стараюсь отогнать мысль, что внимание всего Макондо приковано сейчас к тому, что мы делаем в этом доме. Я представляю себе, как сеньора Ребека, тощая и иссохшая, внешностью и одеждой похожая на привидение, сидит у электрического вентилятора. Проволочные сетки на окнах затемняют ее лицо. Под свист отходящего поезда она, терзаясь жарой и досадой, наклоняется к вентилятору, лопасти которого крутятся, как ее сердце, только в обратную сторону, и, дряхлая, цепляющаяся за жизнь жалкими корнями повседневности, шипит: «Все это козни дьявола».

А параличная Агеда смотрит, как, проводив жениха, возвращается со станции Солита и, обогнув безлюдный угол, раскрывает зонтик; она несет с собой ликование плоти, когда-то наполнявшее и Агеду, но обратившееся у нее в тяжкий религиозный недуг, который и заставляет ее сказать: «Все бы ты каталась в постели, как свинья в навозе».

Не могу избавиться от этой мысли. Не думать, что сейчас половина третьего. Шагает почтовый мул в клубах горячей пыли, следом идут двое мужчин, прервавших послеобеденный отдых, чтобы скорее получить газеты.

Отец Анхель сидя спит в ризнице, раскрыв на толстом животе требник. Он слышит топот мула, отгоняет мух, мешающих ему спать, и бормочет: «Эти фрикадельки меня доконают».

Папа не смущается ничем. Он даже велит поднять крышку гроба и положить внутрь забытый на кровати башмак. Только он способен был интересоваться этим заурядным человеком. Я не удивлюсь, если, вынося гроб, мы встретим у порога поджидающую нас толпу с ночными испражнениями, если нас обольют нечистотами за нарушение воли народа. Быть может, из-за папы они этого не сделают. А может быть, все-таки сделают, потому что слишком уж это низко – лишить людей возжеленного

удовольствия, которое много жарких дней рисовалось воображению мужчин и женщин, проходивших мимо этого дома. «Рано или поздно мы насладимся его запахом», – каждый раз говорили они себе. Это говорило все Макондо, от первого дома до последнего.

Скоро три часа. Сеньорита уже знает. Сеньора Ребека заметила ее на улице, окликнула и, на минуту выйдя из струи вентилятора, невидимая за сеткой, сказала: «Сеньорита, это дьявол, вы знаете». Завтра в школу пойдет не мой сын, а совершенно другой ребенок. Он вырастет, родит детей и, наконец, умрет, но никто никогда не свяжет себя с ним долгом благодарности, который обеспечил бы ему христианское погребение.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)